

Николай Петрович Вагнер

Без света

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0006
III.....	.0008
IV.....	.0011
V.....	.0013
VI.....	.0016
VII.....	.0020
VIII.....	.0026
IX.....	.0032

Н. П. Вагнер
БЕЗ СВЕТА

Вы, вероятно, встречали их — этих бедных, маленьких бездомников, шляющихся из дома в дом, в дождь и холод по улицам нашей цивилизованной столицы. Вас, вероятно, поражало страдальческое, кроткое личико слепой девочки, которую водил маленький брат её, а впереди них всегда бежала кудлатая хромая собачка. Когда маленький братишка запевал под вашими окнами:

— Подайте л-л-ю-ди Бо-о-жию, по-о-дайте Хлиста лади, убогоньким на хлебец! — то в то же самое время собачка садилась на землю и начинала жалобно выть и визжать.

— Какая наглая эксплуатация! — говорили вы, отходя от окна, которое холодный ветер, словно дробью, обсыпал дождём.

И вам представлялась правильно организованная система обирания ваших карманов. Вы винили полицию за то, что она пускает по городу этих «детей разврата и лени». Вы вспоминали те отвратительные, грязные вертепы, в которых живут эти бедные дети. Ваша осенняя хандра ещё более увеличивалась от раз-

дражения. Вас сердил этот надоедливый тоненький детский голосок, доносившийся со двора, и звяканье медных копеечек, которые кидали бедным детям сытые, праздные и сострадающие люди.

Э то было давно.

В глухом лесном углу, в небольшой деревеньке, в новой крепкой избе родились маленькие бездомники. Девочку звали Машуткой, мальчика — Васёной. Когда девочке минуло три года, а Васёна ещё сосал грудь матери, мать их, Акулина Любариха, проводила своего мужа в солдаты, голосила и причитала над ним. Наплакала глаза, которые и без того были больные, и осталась в своём родимом опустелом гнёздышке век вековать бобылём одиноким, «царской вдовой», солдатской сиротой.

Жили они с мужем всегда в миру и ладу; оба тихие да молчаливые, ясные.

И детки уродились такие же. Васёна ещё по временам расшалится, развозится, но его дикая весёлость тотчас же разобьётся о тихую, кроткую улыбку сестрёнки. Да при том на обоих тяготела та грусть безысходная, которая, как тихая струйка, сочилась в целом доме из постоянно тоскующего сердца матери.

В долгие зимние вечера мать прядёт мочку кудели. Горит и дымится, потрескивая, светец-лучина. Тихо шурчит и жужжит веретено; тихо мурлычет седой Васюк на печи, тихо спит Кудлашка, свернувшись клубком на полу, и только по временам встрепенётся, когда долетит до неё далёкий лай деревенских собак, приподнимет голову, насторожит уши, поворчит, повизжит и снова уляжется.

— Мамонька, голубынька, — говорит Машутка. — Расскажи нам, как ты в голодный год нуду принимала.

— Э! детоньки, что горе вспоминать? Благо было, да прошло!

— Нет, мамонька, расскажи. Сделай милость! Вспомним горе, и жизнь слаще покажется...

Любариха посмотрела на них с грустной улыбкой, поправила девочке белые волосики, что выбились из-под платка, и начала плавно, неторопливо.

У нас здесь хлеб плохо родится. Земля плохая — всё больше камень да щебень, либо песок. Тот год Васёне пошёл третий годок — осень припоздала, тёплая была да бесснежная. Все озими-то червячок подъял, а что весной из корня пошло, то летом жары спалили. Така была засуха, что старики сродясь не запомнят. Цело лето леса горели и мгла стояла.

Осень настала сырая, студёная, да мокрая; от стужи да мокрети, известное дело, пуще тоска на сердце ложится.

В сентябре снежок запорошил. Вышла я на крылечко, а снег так и сеет, ровно сквозь сито, а сердце-то у меня так и стынет.

— Господи! — думаю я, — чем-то я вас, деточек малых, прокормлю зимушку лютую, в бескормицу?

Одначе, правду сказать, что у меня припасено на всякий случай три мешка крупки. В амбарушке, над погребцом, на вышке лежали. Авось, думаю, не отоцаем.

Тот же вечер дождь полил и весь снежочек смыл. Грязь невылазная. Сиверко гудёт,

дождь так и льёт, ни зги не видно. Только вдруг слышу, кто-то в оконце: тук, тук, тук!

— Господи, — думаю, — кому бы это? Перепугалась шибко.

— Кто, мол, тут? — Не отвечают.

Засветила фонарь, накинулась шубёнкой, выходку. А под окном мужичонка-дедушка сидит, древний, надревний, совсем седой да весь мокрый.

— Откуда, — говорю, — странствуешь, божий человек?

А он бормочет, бормочет, жуёт, чавкает, машет руками, а ничего не разберёшь.

Подумала я тогда: пустить его, аль не пустить в избу? Старче древний, еле дышит. Как бы, мол, беды не нажить. Пустишь его, а он в ночь-то помрёт!

А он опёрся на подожок-то, да как заплачет, таково жалобно, ровно ребёночек махонький, а слёзы так и капают на бородку седенькую.

Ввела я его в избу, положила на печь, напоила мяткой да шипишным цветиком. Наутро старче совсем окреп.

Пожил старче денёк-другой. Подумала я,

поглядела. Вижу — тихонький да простенький, больше спит, да богу молится.

— Пущай, — думаю, — живёт в избе, куда, мол, его погоню, старца древнего? Словно он ребёночек махонький. А тут стужа такая лютая настала. Куда, мол, его на мороз погоню? Авось не объест. Как-нибудь зиму проживём. И мне будет спокойнее вдвоём в избе жить. Всё как будто я не одна.

— Голод у нас, — говорю ему. — Не знаю, чего есть будем.

А он вытащил котомочку, развязал. Полна котомочка лепёшками.

— Вот, — говорит, — лепёшечки. Господь не оставит. Будем сыты. Проживём.

И поселился он у меня до весны, зиму коротать.

IV

А зима всё лютей да лютей становится. Каждый день такие морозы стоят, просто — страсть. Измаялись мы совсем. Стужа да голод — вконец изморили.

Стала и у меня крупка подбираться. Остался один мешочек.

— Ну! — говорю старику, — мучки мы деткам оставим, а сами будем голодно месиво есть.

Вот натолкем мы сушёных грибков, да с мякиной намешаем, да чуточку, самую малость, с напёрстка два, подсыпим мучки, замесим и лепёшечек напечём.

Ну, и ничего, питались мы этими лепёшечками вплоть до масляной.

А признаться сказать, мы и масляну, как-ка-така, забыли. Кака уж масляна, когда ни у кого и мучки, почитай, нет!

Каждый день народ собирался за гумном, знаешь, там тако место есть, кругом прозывается.

Помирать-то одному в избе неохотно, ну, и ползут все на круг. Испитые такие да жёлтые,

страсть смотреть!

Кажинный день кого-нибудь везут хоронить.

Каждый день десяцкий обходил избы: не вымерли ли где?

А то с семьёй Антипа Касмарева беда приключилась. Три бабы, да два парня, да мальчонок — все перемёрли. А нам это и невдомёк: почему, мол, никто из них на круг не приходит? — Да через неделю кто-то в избу к ним заглянул; а они все мёртвые! — Ребёночек — вон с Васёну — так тот на порожке, голубчик, свернулся, ручки к животику поджал, да так и застыл — ровно спит...

Дух от них из избы-то несёт такой самый противный. Знамо дело мертвечина, всё равно, что падаль.

Ну, после этого мы уж и доглядывали друг за дружкой. Как если что... так сейчас и убираем.

Святая была поздняя. К Святой мы все прибрались. Чистые рубахи понадевали, друг с дружкой попрощались. Как есть к отходу изготавились.

На последних днях Святой говорю я старичку:

— Мучки-то у нас почти ничего не осталось. Чем мы деточек-то прокормим?

Старичок мой полез на печку, добыл свой кошель — развязал. Глядь!.. а у него почитай все лепёшечки-то целы, да и те, что мы напекли из грибков, почитай, не съедены лежат.

— Как это ты, — говорю, — божий человек, чем питался?

— А я, — говорит, — половиночками. Ты съешь целую лепёшку, а я, — говорит, — половиночку — вот оно и накопилось.

Отобрал он лепёшки с грибами.

— Вот это, — говорит, — мы будем есть, а это будем деточек кормить, а там — что бог даст.

Только не привёл бог долго держать вас на

лепёшечках.

Настало воскресенье. День был такой ладный. Тепло; солнышко светит. На полях травка зазеленела. Собрались мы все на кругу; ни живы, ни мертвы... Спасенья не чаем.

А с круга, знаешь, дорога — вся видна.

И видим мы, что как будто словно обоз идёт.

Диву дались мы.

Что ж думаешь? — хлебушка из губернии прислали!

Наперво мы сторяча не поверили, а как въехали возы, да разглядел народ, так и — и батюшки! Такая оказия случилась! Бросились это на возы, словно звери голодные, кули все сронили, расшили, — да муку-то горстями за пазуху, в подол, в рот.

Кричат им: «Погодите, зря, мол, нельзя!» Так куда-а! Галдят, рычат, дерутся, друг у дружки рвут. Просто собаки голодные!

Одначе с этой муки-то, с непривычки-то — сами себе смерть причинили.

Померло тогда нас без малого два десятка, — всего-то во всё голодное время — померло сотни две. Мало кто жив остался.

Ну, мы тут отдохнули!.. А там и ещё мучки нагнали.

А урожай в тот год был такой, что просто никто не запомнит!..»

Любариха замолкла.

— А куда же, мама, старичок-то девался? — спросила Машутка.

— А старичок-то ушёл. После Святой вскорее и ушёл. Посидели молча немного.

Любариха поглядела в оконце, который, мол, час, не светает ли?

А Васёна спал во всю ивановскую, прикорнув на коленки у сестры.

— Отнеси его, Машутка, да уложи, — сказала Любариха, — да и сама ложись: время не раннее. Видишь, как мы с тобой, доченька, заболтались!

VI

Полегла Машутка, но вместо сна пришла бессонница.

Не в первый раз приводилось ей повернуться всю ночь напролёт и глаз не сомкнуть. Грёзы и страхи ночные овладеют детской головкой, охватят сердце и мучат всю ночь, вплоть до вторых петухов.

Сперва пойдут думы: как всё на свете делается? Отчего бог голод посылает? Отчего земля не родит? Но все эти вопросы почти тотчас же развёртываются в грёзы и образы, которые тянутся бесконечною вереницею.

Силится, старается Машутка заснуть и не может. Всё сильнее и сильнее томят её думы и грёзы.

Солнышко высоко вошло, когда поднялась Машутка. Поднялась и не может глаз раскрыть. Отяжелели веки, словно слиплись, а раскроет их через силу, то словно тысячи ножей разрежут глаза.

И целый день не могла она ими на свет божий взглянуть, всё на печи сидела, в тёмном углу. Только к вечеру легче сделалось. Люба-

риха всё время ей студёной водой со льдом примачивала, да льняное семя сварила, процедила сквозь тряпочку и отваром густым и слизистым промывала.

— Ничего, радостная моя, — приговаривала она. — Потерпи! это пройдёт. У меня, у махонькой, тоже этак глаза болели. Господь помиловал. Прошло!

И неправду говорит Любариха. Совсем не прошло. И теперь глаза у неё по временам болят и ноют. Да, впрочем, Машутка знает это и сама, но не хочет сказать только она маме, голубушке своей.

«Пуцдай! — думает, — родимая моя меня тешит и сама утешается. Всё сердцу легче»...

В деревушке у них мало у кого были совсем здоровые глаза, в особенности у детей.

Летом ещё ничего. Так или этак можно справляться, а зимой так совсем плохо приходится. В ясный день, когда снег блестит на солнышке, а в избе дымно от печки, из которой ветер дым выбивает, тогда просто беги со свету божьего. Деваться некуда.

Впрочем, припадки боли не часто являлись. Пройдёт боль и Машутка ничего весела

и здорова.

В весеннее время, когда в лесах зацветают белокрылка и волчье лыко, пойдут Машутка с Васёной в дальний лес. Воздух лёгкий да пахучий, словно ясному дню радуется. С пригорков бегут, пенятся ручьи, точно всем твердят:

*Весна пришла,
Весна красна.
Цветочкам свет,
Траве привет.*

— Васёна, — говорит Машутка, — слышишь, что ручьи поют?

И Васёна слушает, слушает и не может ничего расслышать. А у Машутки глазки горят и светятся, тихо поднимает она пальчик и начнёт подпевать:

*Весна пришла,
Весна красна.
Цветочкам свет,
Траве привет.*

Слушает, слушает Васёна, нахмурится и действительно начинает слышать и подпевать вслед за Машуткой:

Весна пришла,

Весна красна.

А тут птичка махонькая, крапивничек, прилетит и так радостно зачиликает на кустике с голыми ветками. Смотрит на Машутку и Васёну, головкой вертит. Точно хочет им сказать:

— И я слышу! И я слышу весеннюю песенку!

Пойдут детки дальше, и кажется Машутке, что вся весна у ней в сердце, там и ручьи бегут, и цветки цветут, и мурава зелёная, и солнце тихой, тихой радостью светит без конца, без заката.

VII

И не только весна, но весь божий мир вдруг замкнулся в сердце Машутки, а снаружи настали для неё вечные, непроглядные потёмки.

Случилось это вот как.

Один раз Любариха с обоими детками в ясный, морозный, зимний день поехала на дровнях в лес за хворостом.

Кудлашка с лаем бежит впереди, Бурко бодро топчет и головой мотает; деткам хорошо, весело; даром что мороз пощипывает им носы и щёки.

— Смотри, Васёна! — говорит Машутка, — видишь, как на деревьях кружевца развешаны, а на них всё огоньки, огоньки прыгают разносветные! Видишь, видишь, как светики блестят.

И у Машутки сердце переполнилось восторгом. Она любовалась и не могла налюбоваться на светики разносветные.

Больно глазам Машутки смотреть на них, а всё не может расстаться с ними: такая «божья краса неописанная!»

Вернулись домой.

К вечеру глаза девочки разболелись не на шутку. Целую ночь она не могла заснуть. Как закроет глаза, тотчас же в них начинают прыгать светики разноцветные, прыгают, кружатся. Всё их больше и больше прибывает, и с резкой, жгучей болью они начинают вертеться, как будто в самой голове.

Целую ночь Любариха не спала, возилась, ухаживала за Машуткой. К утру сон сломил, наконец, бедную девочку.

Любариха с Васёной копошились чуть слышно, говорили шёпотом, чтоб не разбудить больную Машуточку.

Солнце светило так же ярко, как вчера, и позднее утро настало, когда проснулась Машута.

— Мамонька! — спрашивает она с полатей. — Не рассвело ещё?

— Как не рассвело, доченька милая, день-деньской на дворе. Солнышко светит.

— Мамонька, помоги мне, голубушка, слезть с полаток.

Помогла Любариха.

Силится взглянуть на свет Машутка. С тру-

дом разжимает глаза, режет их как ножами, а свету всё нет.

— Мамонька, подведи ты меня к окошечку.

Подвела, поставила Любариха на солнышке. Туманный, красноватый, тёплый свет чуть-чуть осветил глаза.

— Мамонька, — шепчет Машутка, — ничего я не вижу.

А у самой слёзки бегут из глаз в три ручья.

А Любариха стоит над ней ни жива, ни мертва. Ноги трясутся. Мороз по спине ходит. Сердце через силу стучит.

— Мамонька! — шепчет Машутка, — лишил меня господь свету белого.

И тихо перекрестилась она большим крестом.

Тяжёлое горе налегло на плечи Любарихи. Никак его не осилить.

Чего, чего только она ни пробовала, чтобы помочь дорогой Машутке, и ничего не помогло.

Свозила её. слепенькую, в Соловки, к преподобным. Служила молебны... Молилась денно и ночью. Не было помощи!

Свозила её в губернию. Шлялась по раз-

ным больницам и докторам. Все доктора наотрез отказались помочь.

Первое время Машутка сильно тосковала; сколько горьких слёз выплакала, а затем помирилась с своей долей бесталанной.

— Во всём ведь власть господня!

А Васёна ни на шаг не отходит от сестры. Водит её повсюду, обо всём, что видит, говорит, рассказывает. Одним словом, превратился он совсем в Машуткины глаза, и весел, и доволен. Правду сказать: Машутка для него была не только надёжным товарищем, но безграничным авторитетом и нескончаемым источником всяких сказок и рассказов.

У слепенькой Машутки этот источник стал ещё глубже и плодотворнее. Целый мир закрылся перед ней, и все силы её перешли на свой собственный чудный мир, который был спрятан от людей в её сердце.

Никогда ещё образы и представления не вставали перед ней с такой силой, с таким блеском, никогда она не любила их так сильно, как теперь.

Сказка за сказкой сами собой складываются в её пылкой головке и текут они, как свет-

лые волны, пропадая бесплодно и бесследно впотьмах тёмной, никем не знаемой жизни!..

Пошёл Машутке тринадцатый годок.

Свыклась она с своей долей. Снова кроткая улыбка выступила на её губках.

— Что ж, — думает она, — можно и так жить. Не всем быть зрячими. Кому-нибудь надо же быть слепенькому.

Она даже порой говорила:

— Ведь это уже было давно. Когда я ещё зрячей была.

И стала Машутка весела и довольна по-прежнему.

Но горе, как кошка, крадётся из-за угла, выглядывает, высматривает и вдруг, нежданно-негаданно, цап-царап, прямо за сердце! Очень уж оно лакомо до сердца человеческого — горе ехидное!

Любариха ясно сознавала, что с тех пор, как ослепла Машутка, на её плечи весь дом налёг. Она в поле, она и в доме. Но всё бы ничего, только одна дума, страшная дума являлась к ней по временам.

— Что будет с деточками, если я помру? Куда они денутся, мои родненькие? Отберёт у

них дом Иван Михеич (её двоюродный брат), и начнёт над ними властвовать Марья Якимовна (жена его — баба свирепая и нелюдимая).

И при этой мысли сердце Любарихи сожмётся, голова закружится, и она старается скорее не думать эту тяжёлую, невыносимую думу, а она, неотвязная, днём и ночью сама в душу лезет.

VIII

Пришла осень.

Тучи, хмурые тучи налегли на землю. Плывут, клубятся, несутся. Холодный резкий ветер гонит их и летает по голым полям и лесам, рвёт с них последние пожелтелые листья. Земля замёрзла. Все лужицы застыли, и тонкий слой льда покрыл края речки, быстрой, каменистой, богатой перекатами.

Стоит Машутка за воротами и ничего этого не видит. Она чувствует только холодный, порывистый ветер, который чуть с ног не валит.

— Пойдём, Машутка, в избу, — говорит Васёна. — Видишь, как сиверко!..

Машутка ничего не ответила. Она стояла, накрывшись тулупчиком, и повёртывала лицо к ветру, стараясь узнать, с которой стороны он дует. Если с полуночной, то быть ясной погоде, если же с полуденной, то завтра будет дождь. Но, очевидно, она это делала от нечего делать.

Она ждала свою дорогую мамоньку, которая отправилась на речку сполоснуть бельё.

Час за часом бежит, а она не ворочается

назад.

Несколько раз уже Машутка выходит за ворота. Уже печка давно истопилась, уже хлебы давно осели, а её всё нет как нет.

— Машутка, — говорит Васёна, — что мы всё за ворота, да за ворота... Холодно!..

И не хочется сказать Машутке, отчего у ней сердце сжалось и ноет, отчего она вся, всей бы душой полетела бы туда, на речку.

Постоит, посмотрит Машутка, долго, пристально посмотрит в ту сторону, где за поворотом исчезла мать, как будто и видит что-нибудь своими слепенькими глазами; а Кудлашка жалобно визжит и лает на ветер, поглядывая на Машутку. Словно чует сердце собачье, что у ней делается на душе.

— Пойдём, Машутка, в избу, — опять зовёт Васёна, прыгая на холодном ветру и защищая покрасневший нос и слезящиеся глаза рукавом полушубка.

И опять, понутив голову и опираясь на своего вожатого, ворочается Машутка в тёплую избу.

Наконец, она не выдержала.

Укутала, чем могла, Васёну, и пошли, побе-

жали на речку, а Кудлашка, как бешеная, мчится впереди них. Визжит и лает.

Прошли улку, пришли к спуску, и Васёна совсем вступил в роль вожатого. Повернулся он спиной к Машутке, а она обеими руками опёрлась ему о плечи, и он тихонько начал спускаться к речке. Спуск был крутой и грязный. Несколько раз Васёна скользил и готов был оборваться. Наконец, на повороте тропочки выглянули мостки, и видит Васёна, что кучка белья белеет на мостках и только одна доска осталась от них. Другую совсем в воду сшибло.

Видит он, что что-то краснеет подле камня, ровно мамонькин платок, а из воды торчит ровно палка или рука человечья.

Кудлашка присела, вся нахохлилась, насторожила уши, вглядывается, и визжит, и боится, и словно не может итти.

Ближе, ближе подходят детки.

Наконец, разглядел Васёна. Весь задрожал и, не помня себя, с отчаянным криком бросился к мосткам.

Словно ножом резанул этот крик по сердцу Машутки.

Не зная как, очутилась она на мостках. Ползком, хватаясь дрожащими руками за скользкие брёвна и доски, проваливаясь в холодную воду, добралась она до маменькиной головы.

Голова вся лежала в воде. Всю её ощупала Машутка. Только конец красного платка плавал и сносило его бежавшей водой. Одна рука высоко торчала из воды, точно манила к себе деток. Да одна нога в лапте чуть-чуть кончиком лежала на мостках.

Не чувствуя холода, трясаясь всем телом, Машутка снова через силу поползла по мосткам назад, хотела бежать в деревню, но тут силы изменили ей. словно хмурые тучи спустились, заволокли голову, и она без чувств упала на грязную тропинку.

Васёна с диким, пронзительным криком бросился бежать в деревню, а впереди него, визжа и отчаянно лая, летела Кудлашка.

Долго бегал и плакал Васёна.

Наконец услышали добрые люди его осипший голос и плач. Вышли, расспросили, побежали к мосткам, подняли Машутку и вытащили из воды мёртвое тело бедной Любарии.

хи.

Прошло три дня, и в них Машутка постарела на три года; да и Васёна похудел и стал хмурый.

Угрюмо, с нестерпимой болью в сердце, похоронили они родимую, и боль эта у Машуты сложилась, разлилась в жалобе, которую голосила, причитала она над покойницей.

*На кого покинула
Горьких сиротиночек,
Мамонька родимая,
Ясен, светел свет в очах
Грела, словно солнышко.
Пташек своих малых,
Нежила, лелеяла...
Да пропала, скрылася,
Сгинула, покинула
На житьё горючее,
Маюшку, суровую,
Доле злой невзгодъицу.*

Вечером, когда вернулись с похорон, одна старушка перехожая, что по дворам в наймах жила, суетилась, тараторила, прибирала всё в доме у сиротинок.

— Вам здесь не осилить... — говорила она, — где осилить, болезным!.. Ты слепень-

кая, он — махонький; весь дом в раззор разорите!.. В Питер бы вам махнуть. Вот куда! Там авось в како ни на есть заведение возьмут.

Машутка с Васёной слушали её, сидя на маминой постели, слушали бесконечную болтовню, покрывшись зипунчиком.

У обоих сердце ныло. Оба, широко раскрыв заплаканные глаза, испуганно смотрели в тёмную, тяжёлую даль будущего...

Так маленькие птички смотрят из родимого гнезда в холодную даль, когда ветер свистит и дождь льёт без конца, а матери родимой нет, как нет.

IX

Недолго сиротки прожили одинокими. Через два дня из ближней деревни нагрянули гости-наследнички, дядя, да тётка с детками.

С первых же разов пошёл шум и гам, дым коромыслом. Вся изба ходуном, хоть вон беги.

Деток наехало семеро. Старшему пареньку десятый годок, младшему — другой пошёл, и стало тесно всем в горницах.

Ночью на печке лёг сам, на кровати тётка с малышом. На полатях всё детки приезжие. А Машутку с Васёной уложили на лавках. Лавки узенькие. Васёна заснул, во сне разметнулся и на пол скатился. Испугался и заревел, но тётка быстро, словно кошка, соскочила с постели и костлявой, мозолистой рукой надавала ему таких шлёпанцев, что бедный Васёна, совсем ошеломлённый, затих на полу.

Когда тётка улеглась, к нему спустилась Машутка, подостлала под него шубёнку, под голову подушку, укутала, пригрела, и Васёна, уткнув голову к ней в рукав, тихо, тихо начал рыдать и всхлипывать, а Машутка, зажимая ему рот, целовала его, приговаривая:

— Нишкни, нишкни, родный! Услышат, опять хлестать начнут.

И Васёна, наконец, замолк и заснул как убитый, тихо вздрагивая и всхлипывая во сне.

А Машутка не спала вплоть до рассвета.

Прошло несколько дней, и упорная мысль окрепла в головке слепой девочки: «Бежать надо!»

С вечера Машутка припасла мешочки и бураки. Васёна не спрашивал. Он догадался, зачем, куда собирается сестра.

Полегли, по обыкновению, на полу, совсем одетые.

Середь ночи, после первых петухов, Машутка растолкала Васёну, который крепко задремал.

Тихонько, как тени, не скрипнув дверью, вышли в сенцы, перекрестились.

На дворе завизжала, обрадовавшись, и бросилась к ним Кудлашка.

Молча вышли детки божьи.

Ночь была ясная, да холодная. Ярко горели звёзды.

Сперва пошли на кладбище.

Бросились было на них с лаем собаки, но вскоре узнали знакомых, завизжали и побежали вслед за ними, виляя хвостами.

Перелезли через пряслицы и прямёхонько пришли на могилку Любарихи.

Помолились — поклонились.

Машутка долго не поднимала головы с могилки. Слезы текли, текли вместе с словами прямо из сердца.

*Мамонька, голубынька,
Перекрести, родимая,
Деточек любимых
На страду земную.
Нет им уголка в избе,
Выгнали их вороги
Из родима гнёздышка,
Где с тобою жили мы,
Где ты нас лелеяла...*

Встали, пошли. Кудлашка побежала впереди.

Прежде чем повернуть за пригорочек, Машутка обернулась... постояла. Жаль ей было расставаться с родиной.

Перекрестилась, махнула рукой и пошла...

Кое-как, с лишениями, питаясь подаяния-

ми, добрались, наконец, детки до Питера, и поглотил их город великий.

Осталась ли по вас памятка, страдальцы земли родной, или, подобно многим, многим, сгинули вы бесследно, — блёсточки божьи, затоптанные в грязи, в тёмную ночь общественной жизни!